

Хрен редьки не слаще.

Русская пословица

1

От правды факта я отхожу здесь совсем немного. Нынче мне — семьдесят, а в тех временах, о которых сказ, было вдесятеро меньше. Калилась зима 1942-го. Январь многоснежен, лют. Заметелится, взвоят по-вдовьи, а то — жмёт морозами, сияет невысоконьким ярко-белым солнышком, пухлые снега обрадуются, заискрятся. И за каждую хатой, кустом, сугробом — длинные мертвенно-синие тени...

В масть январю — тогдашняя жизнь в Ковякине: придавленно-тиха, но вдруг высверкнет радостной жданкой-надеждой — и наново стихла деревня, сникла в понурость многотерпного ожидания. По-иному не выходило ей. В каком километре за ковякинской околицей — большак Ярцево — Белый, единственная немцу ниточка подвоза от железной дороги к фронтовым частям, оборонявшимся той зимою в бельских бездорожьях от наших наступлений. Смоленщина полыхала партизанскими восстаниями. Сложность

положения понуждала немцев, выбитых из Подмосковья, не очень ввязываться в противодействия партизанским победам. Но вдоль важнейших дорог области, как и вдоль нашего большачка, они держались твёрдо. Так что ковьякинцам выпадало — «живи меж огней». Это и вводило в стылое терпение. Всей деревней с места не сойдёшь, в партизаны не уйдёшь, а чуть выступи из немецкой воли — каюк Ковьякину.

Хреновы, Зубовы — других фамилий не было по деревне: вся в свойстве. Только мы — мама, я и сестрёнка-пяtilетыш — были здесь иной фамилии: беженцы, приюченные Степанидой Хреновой. Крестьянски-крепкая вдовья многодетница-мать, хватистая на любой деревенской работе, была Степанида в той поре жизни, когда не разобрать по крепкой бабе, сколько ей — сорок, пятьдесят или сверх того. Приткнулись мы у Степаниды в июле 41-го, казалось, на самое малое время. Фронт громыхал в Ярцеве, городочке нашего постоянного обитания, и окрест, наши сдержали немца и пятили, а это — рукой подать от Ковьякина, километров пятнадцать. Так держалось по октябрь. Затем, как-то враз, бои укатились за Вязьму. А нам — выбор: коротай и дальше у Степаниды либо вернись к развалинам своего городского жилья. Ярцево лежало в прахе. Мама рассудила: в Ковьякине нам выйдет легче.

2

Под Степанидиным кровом царили лад, труд и крутоватая воля хозяйки. Семейство немалое — распусты не было никому. Покрикивала Степанида и на нас. Мама робела, звала её только по имени-отчеству: Степанида Устиновна. Степанидино обхождение с нами, не знавшими сельской работы, неумелыми в ней, было почасту прямодушно-обидным, но никогда не заступало черты, за которой злоба, ссорность. Корнем этому относительному ладу меж нами и Степанидой были не только её доброжелательства. Мы, уходя в беженство из гремевшего боями Ярцева, сунули в холодную печь-голландку нашей комнатёнки престарелую зингеровскую швейную машинку. Ею и маминими руками шито-перешито было едва ли не всё, что носили мы все довоенные годы. А в ноябре 41-го, пойдя из Ковьякина оглядеться в свой разгромленный городок, мы нашли в развалах нашего жилища, в той устоявшей печке-голландке, всецело уберегшуюся старушку-машинку и рады-рады принесли её в Ковьякино. С того, месяц по месяцу, за корм и приют, умело и прилежно мать обшивала Степанидино семейство и сверх — её родню по всему Ковьякину.

Эту машинку помню за чудо! Не сломав ни единой иголки (из двух уберегшихся заедино с нею), не спутав ни единого шва, не сбивая в сборки ни единой из сшиваемых тканей, это добротнейшее германское поделье дореволюционной поры отличнейше сшивало всё, что в него совали: прорезиненные брезенты, парашютный шёлк, армейское хабэ, плащ-палаточную

ткань, серошинельное сукно и овчины.. Сукном, перекусав, покрывали дёревенские шубы-самодубки. Чудо-машинка! Она влёгкую простёгивала ватные заготовки-боковинки для бурок, сшивала их в самоё бурки... Я корпел у матери в подмастерьях: порол приносимые шинели, гимнастёрки, шаровары, плащ-палатки. Все это перекраивалось, перешивалось, преображаясь в платья и юбки, в ребячьи штаны и рубахи, в насыпки и наволочки... Если для управности под швейною лапкой при особо толстом швие матери требовались туда обе руки, я размеренно и с немалым трудом крутил машинку...

В днях, когда этих подсобных моих стараний не требовалось, я охотно лепился к Степанидиной ребятне, в их дела и забавы: плести из суровых ниток сетки на рыбу и натягивать их на ивовые каркасы. Эти самоловные сооружения назывались норотами. Их вязали к шестам, ставили, погружая с головою, по самым уловным местам ковыякинской Крохотули-речонки и через день вытаскивали на берег, радостно вытряхивали заплывшую в них плотву. Вплоть до снегов и морозов мы промышляли в ковыякинском полулесе-полуболоте, обирая выпевшую бруснику с зелёно-бархатистых крупных кочек...

Из пятерых Степанидиных ребят (да трое взрослых были у ней в Красной Армии) добрейшим учителем моим в этих сельских работах-походах-забавах был шестнадцатилетний Санька, крепкий степенный малый, великоватый для дружбы со мною, семилетком, но сдруживало кино. В ярцевском кино-театре (он цел доньше в том же виде и качестве) я повидал и «Волгу-Волгу», и «Цирк», и «Весёлых ребят», и «Александра Невского», и «Чапаева»... Каждое словцо из этих фильмов, его интонации, мимика и жесты героев – неизгладимы во мне поныне. А уж тогда-то, в придавленно-тихом зимнем ковыякинском существовании под немцами (они часто бывали к нам со всяческими поборами), мне в темени бесконечных вечеров и ночей было в большую радость ради Саньки шёпотом либо вполголоса пересказывать их, вызывая в душе волненья, когда-то рождённые этими лентами. Один на всех ролях, я со всем пылом-жаром влёк моих слушателей на Степанидиных нарах в эти киноистории. Из всей Степанидиной ребятни Санька был чудеснейшим слушателем, необычайно отзывчивым на мои старанья, неизменно согласным со мною в отношениях к героям моих представлений.

3

Раз, не обметая с валенок октябрьский сыпучий снег, Санька влетел в избу, крича радостное:

– Ма-амка!.. наш Колька... с плену!..

Дверь, брошенная настежь, впустила белые клубы морозного воздуха, и вслед – невеличку-мужика, обородатевшего, исхудалого, лохматого, в дражной одежонке не по его малому телу. Войдя и тоже не закрывая двери, он

ополз спиною по притолоке, сторбатившись там, на полу, закрыв лицо руками, то ли смеясь, то ли плача, то ли давясь глухим редким кашлем. Степанида и всё семейство кинулись поднимать-обнимать пришельца... Так вошёл в мою жизнь Хренов Николай, меньший из тройки взрослых Степанидиных сынов, пленённый под Вязьмой, сбежавший из лагеря. На диво быстро он отелся, выправился из худобы, оказавшись лобастеньким парнем: ладный неженатик с простовато-ясной улыбкой на округлом добродушном лице, во всём ловок, по-степанидиному деловит, ухватист, всякому делу мастер, повёртлив-покатлив, как колобок.

– Пограбляют нас черти немые... Тёлку днями свели, – жалобилась ему Степанида меж прочими разговорами того вечера и слезилась, расслабнув на время душой, чего прежде я ни разу не видывал за нею.

Сын улыбочато обнадеживал:

– Увернёмся, мам... нынче – так: хошь дышать – уворачивайся! Приладимся... не дурней кирпичной стенки!..

Скоро после того, в несколько дней, попрятываясь сторонних глаз, он об руку с Санькой отрыл-обустроил тайницу-погребушку за надворною банькой, поверх положили стожок соломы. Погребушка вобрала кубел сала, бочку бараньей солонины, запас зерна и картошки. Немцы, наезжавшие в Ковякино за съестным, шарились теперь у Степаниды попусту. Зато волостной старшина, недавний коммунист и советский работник малого чина Прокоп Михалыч, настороженного вида плечистый мужик, несколько раз на последних днях октября оказывался желанным гостем Николаевых застолий. В компании с этим пивал в тех же застольях угрюмый рослый ковьякинский староста Стёпка Дронов, угловатый сутулый малый Николаевых лет и, как тот, в недавности – красноармеец-окруженец, воротившийся к дому ещё в сентябре, месяцем прежде Николая. После тех щедрых застолий Николая и взяли мельником водяной третьяковской мельнички, на все должности сразу: механиком и содержателем плотины и всего мельничного устройства. Третьяково – село, раз в десять больше Ковякина, в паре километров от него, раскинутое на обе стороны большака. Там был немецкий гарнизон и озеро: стародавнее помещичье – старухи-вётлы по берегам, а на плотине, запиравшей озеро, – мельничка.

Жизнь в Степанидином доме покатила проворней, обрела явную бодрость и признаки довольства. Николай привёл в собственность хорошего вороного коня. Ездил на нём к работе, но не в седле, а в лёгоньком расписном возке, сработанном своими руками. Всяко дело спорилось в Николаевых руках. Мельницу держал в отменном порядке. Его работой были довольны все: третьяковский комендант и волостной старшина, и помольцы. В феврале Николай женился. Воскресеньями молодые обязательно посещали духовщинский базар, привозили затейливое: то напольные часы с боем, то самовар-трёхведерник, то трюмо... В Степанидиной пятистенке теснело. И

вскоре Устиновна отказала нам от угла. Выставили, однако, не в шею и не на улицу. На ковякинской околице пустовал полуразрушенный дом под железом и на высоком каменном фундаменте: четыре просторные комнаты с высокими потолками, высокими окнами, полукруглыми поверху. Снег на взломанных, вполовину растащенных полах, рамы без стёкол, две полуразобранные кафельные печи довершали картину. Здесь до войны помещалась контора колхоза, а до революции жил то ли невеличка-помещик, то ли кто из богатых ковякинцев. По-всегдашнему улыбатый с нами Николай и хмурый Санька наскоро подлатали печь в одной из наиболее уцелевших комнат, приткнули к печному боку железную печечку с жестяною трубой, забили крупные дыры в полу досками, отодранными в соседних комнатах, тем же и окна: два — наглухо, третье — до полукруглой фрамуги, в которой уцелели стёкла.

— Живи, Григорьевна! Сама себе хозяйка! — доброхотно пожелал Николай, разогретый работой. — Под своей крышей — милое дело. Ни ты никому, ни тебе никто!..

Душа во мне болела. Разочарование — всегда боль. Николай во многом нравился мне. Теперь же я понимал: если он и Степанида запросто среди зимы выставили нас, пусть и не в чисто поле, но в не очень-то годное жильё, значит, они — плохие. Я почти физически ощущал в них какую-то тёмную перемену. Эти болезненные ощущения, однако, сколько-то умерялись Степанидиными и Николаевыми стараниями не брать на себя всю тяжесть греха за такое переустройство нашей жизни, не просто вытурить постояльцев, долго и старательно работавших на Степанидино семейство, но в чём-то и пособить нам обживаться на новом месте. Устиновна оделила мою маму двумя чугунками разной меры, треснутой сковородой и хорошим топором, не очень тяжёлым, почти посильным мне.

— Не гневайся, моя Григорьевна, — сказала утешно, — свои — да и те, бывает, не сживаются...

На новом месте нам с сестрёнкой чаще всего приходилось дnevать-ночевать без мамы. Ковякинские, кто хотел что-либо сшить-перешить, были уже обслужены прежними нашими стараниями. Мама шила теперь по ближним деревням, возвращаясь в Ковякино на день-два лишь под исход недели, принося торбу заработанных продуктов. Моей главной заботой-работой сделались дрова. Каждый день я с топором и саночками отправлялся в Ковякинский мох, нарубал посильных берёзок, обсекал, увязывал на санках и волок к дому...

Зима не жалела снегов. После каждой метели немцы требовали от старост придорожных деревень указанное число народа на расчистку большака. Он напоминал тоннель, пробитый во всё более нараставших белых стенах. Ковякинский угрюмец-староста в каждом таком разе заходил и к нам, требуя мать на расчистку (а чистили, бывало, и по два, и по три дня подряд). Мама торопливо стирала в ночи наше бельишко, а поутру — на большак. Раза два обронила перед Стёпкой укорные слёзы: «Малые дети... дома не сижу — всё на мои руки! По совести ли вы меня равняете к остальным нашим деревенским?». Его раздражало, что она не изворачивается, не подлещивается, а тычет ему в совесть. Угрюмел, потискивал желваки:

— Завтра чтоб шла... как штык.

— Какой вы бессердечный человек, Степан. Вернутся наши, как вы в глаза мне посмотрите?

Он сронил глухо:

— Грозишь?.. ну, я сострою...

В ночи, бессонному, мне мнились козни, которые состроит нам Стёпка. Он строил вот что:

— Собирайся, интеллигенция вошивая! Отшилась! С глаз долой! В Германию едешь. Завтра.

Мама, за нею — малолетка-сестрёнка заплакали. А в моей душе сотворилось иное: неизведанная Германия сказалась интересною далью... Пуд жита, весь наш запасец, Николай Хренов поменял на муку — фунт за фунт. Степанида в своей просторной русской печке выпекла из того пять увесистых караваев чистого хлеба. Не то что мы — все ковякинцы уже давно не пекли, не ели чистого хлеба, добавлялось мякины, картошки. А мы с сестрёнкой в предотъездную ночь умяли без малого каравай чистейшего житного хлеба. Мама не жалела... В ту ночь, ни на час не ложась, мы пошили себе новые бурки, перелатали одежду... Комната наполнилась народом: как к покойнику сошлись-набрели старухи, молчком сидели, порой крестясь и вздыхая. Мы, тоже молчком, хлопотали над сборами. Наконец всё было сделано, грудка узлов возвысилась у порога. Я вышел на улицу.

Белело морозное утро. Вполнеба золотела заря — вот-вот было явиться солнцу. Верхушки обындевелых берёз по деревне уже видели его и приветно желтелись. Луна призрачно-бледно скромницей тоже дожидалась солнцевосхода. Ковякино тонуло в сугробах. Они, массивно-покатистые, лежали подле каждой хаты, при некоторых — на всю высоту задней стены, взобравшись и выше по скату соломенной кровли на самую печную трубу. Ребяшня, обитавшая в этих избах, даже пробовала кататься на саночках прямо от печной трубы. Струйчатые полупрозрачные белые дымы стройными весёлыми столбами всходили в блеклую голубизну чистого неба. Казалось, не из тёплых

изб, а из нутра этих переливчато поблескивающих огромных сугробов, обжиготёплых внутри, весело тянутся выше и выше по-братски схожие столбы белых дымов. Нечто сказочное, милое просвечивало во всей этой картине. И вдруг радостно хлынуло солнце... Что-то мучительно сжалось во мне, перехватывая глотку, капнули слёзы: мне расхотелось в германскую даль...

— Тпр-р, — сказал Николай своему вороному, запряжённому на этот раз не в возок, а в обыкновенные обшарпанные розвальни, и велел мне: — Иди, скажи матери: грузитесь.

Сумрачен, из тех же саней вылез Санька Хренов и, отводя от меня глаза, сказал брату:

— Его самого бы туда... Стёпку!

Николай притоптал прошипевший в снегу окурок, равнодушно сплюнул в другую сторону и пожал плечом:

— Трёх берут с каждой деревни. Разнарядка на волость. Кого сошлём? Вся деревня — свои. Или ты поедешь? А об них, — он кивнул на меня, — кому печаль? Да Стёпка на Григорьевну зуб точит. Сама виновата: насолила ему.

Санька вздохнул. Я каменел подле саней, подавлен равнодушным Николаевым согласием: «а об этих — кому печаль?»

— Иди, чего стоишь! — подогнал он меня. — Волоките узлы. Нечего простаиваться!..

Мы погрузились, поехали. Бледная от бессонной ночи и свалившегося несчастья, мама тихо плакала. Сестрёнка спала, приткнувшись к узлу. Я мучился, не в силае одолеть своей потрясённости только что слышанным от Николая жестоким: «а об этих — кому печаль?»... Волостная управа и комендатура — в двухэтажной былой третьяковской школе, подле самого большака. Трое спускались с каменного крыльца: волостной в белом полушубке, зимней шапке и два немца: офицеры в фуражках с чёрными обогревательными наушниками и в зелёных шинельках под ремнями и портупьями. Вдруг в наших санях, влекомых вороным шибкой рысью мимо былой школы, истощенно-слёзно вскричала мама, стирая руки:

— Прокоп Миха-алы-ыч!..

Те трое, остановясь, взирали недоумённо. Волостной сделал, вероятно невольню, какое-то невнятное движение рукой, вподобие остановительному. Николай натянул вожжи, солдатски-готовен, проворно соскочил с саней, тянулся, выкатив подбородок. У Стёпки-старосты (он сопровождал нас) получилось хуже: сидел с винтовкою на коленях, подмяв наши узлы, обращённый спиною к школе, и при первых звуках маминогo крика, приборотясь, ткнул её кулаком, набавляя матерное:

— Смолкнись... мать-мать! — и лишь затем заметил остановившихся офицеров и волостного, соскочил с саней, но второпях и, наверное, от накатившего волнения, поскользнулся, грохнулся об дорогу, обронив винтовку.

– В чём дело? – недовольно спросил волостной.

– Зло имеет... в Германию шлёт староста! Беженка я, – заспешила мама, торопясь, чтобы не захлестнули рыдания. – Детишки на руках... не всегда могу выйти на расчистку дороги. А он – в Германию... что они там, дети малые, наработают? Проедем больше...

Толстоватый и много более молодой против второго, немец тихо наговаривал что-то другому, высокому и сухому, чьё лицо враз напугало меня властно-холодной невозмутимостью.

– Ком! – велел этот рослый, набавив слово движением пальца, то и другое обращая к старосте.

Стёпка подступил, будто на деревянных ногах. Рослый что-то сказал товарищу – и тот, в изумление мне, спросил совсем как русский:

– В чём твои претензии, староста, к этой женщине?

– На дорогу отказывается... – пробормотал совершенно опешивший Стёпка-угрюмец.

Дальше случилось ещё более неожиданное для меня.

– Вдовая баба, господин лейтенант, – сказал Николай, сам собою мешаясь в разговор и не меняя солдатски-готовной позы, не опуская выкаченного подбородка. – В летку по прошлому году квартиру ей в Ярцеве разбомбило. Беженка. У матери моей жила. Шитьём кормится. Ни кола, ни двора. Платят – кто ведром картошек, кто зернеца сыпанёт. С такой платы шей и шей, чтоб детей пропитать. А метелей по нынешней зиме – через день. Детной, вдовой, где ж ей наравни с деревенскими быть на расчистке?

Я не верил своим ушам! Живой болью во мне ворочались иные, во всем противоположные Николаевы слова, сказанные им на нынешнем солнце-восходе: «А об этих – кому печаль?»

Лейтенант перетолмачил рослому сказанное Николаем и, словно бы в поощренье, спросил:

– Что ещё скажешь, мельник?

– Простите, господин лейтенант... я – по правде...

Тут и волостной, наружно не становясь ни на какой стороне, дал свое к этому придорожному случаю:

– Помню её, помню.

Лейтенант усмехнулся, перетолмачил и это рослому. Тот сказал что-то угрозно-хлётское, глядя на Стёпку. Лейтенант перевел:

– Господин комендант советует тебе, староста, зарубить на носу: великая Германия нуждается в настоящей рабочей силе.

Нас вернули.

На обратной дороге, радостно плача, мать благодарила Николая за доброту сердца, а угрюмцу Степану клялась никогда не пенять ему за нынешнюю неправоту.

В Ковякине, в благодарственном застолье, пия принесённую Николаем пару бутылок самогонки и под его балалайку, сошедшиеся ковякинцы съели всё, наготовленное в дальнюю нашу дорогу, и, захмелев, пели «Хас-Булат удалой, бедна сакля твоя...», а Стёпка плясал «русскую».

— Мол-лдец, Григорь-ръна, — хвалил Николай. — Увернулась! Так и ж-живи... нынче — только так: хошь жить — уворачивайся!

А мне было больно. Трепетной благодарности к Николаю, бурно полыхнувшей во мне там, у крыльца бывлой третьяковской школы, в ответ на верные непрошенные Николаевы слова, теперь не было и помину. Мне всё яснее виделось-угадывалось, в чём корень нежданной и, кроме меня и Саньки, никому не ведомой и, казалось бы, столь решающей для нас с матерью Николаевой перемены подле крыльца третьяковской комендатуры. Ловкач, он первым из всех нас там почуял, как из-за Стёпкина падения и оброненной им винтовки, из-за Стёпкиной растерянности, нагрывушей на него, враз невольно переменялось в обоих офицерах, а чуть погодя и в волостном, отношење к неудалому старосте. И сметливец Николай тотчас сделал самое надобное к своей выгоде, что мог в тех обстоятельствах: он мгновенно стал на сторону тех, кто сильнее...

В ночи, на стылых нарах нашей ковякинской высокой комнаты, которую никак не могла обогреть железная печечка, я попрекнул маму:

— За что ты хвалила Николая? Зачем скормила всё наше? Не попадись те немцы, не повались с саней Стёпка, не оброни винтовку, Николай бы за нас ни слова не сказал!

— Я знаю, сынок... да на радостях душа плохого не помнит... Не думай о плохом, сынок! Спи... сегодня у нас — радость.

Осенью 43-го угрюмец Стёпка и шустрый мельник Николай Хренов равно подались отступать с немцами. На Стёпке была кровь. На Николае — нет, остался-таки всего-навсего «мюллером», не очень-то и виноватым в каком-либо существенном, поистине предательском сотрудничестве с немцами. Мог бы и не таскаться за ними в их отступления и разгромы. Но гнал страх: останешься — спросят же: «Ну что, сволочь? Сладко было? Такая беда у народа, такая война — а тебе только до себя? Ну, давай — в Сибирь, за проволоку, лет на десяток!?» А за проволоку он не хотел.

Годы и годы прошли с той поры. Ни единого участника этой были, кроме меня и моей сестрёнки, не осталось в живых. Нет и Ковякина, исчезнувшего уже после войны, как по разным причинам исчезли и продолжают исчезать тысячи и тысячи деревень на просторах пустеющей России... Думается, од-

нако, что в этой давней истории есть-таки ниточка кровотокащей связи со временем нынешним. Нынче у нас — царство свободы для хватких людей, чья цель — деловой успех, деньги, комфорт собственной жизни. Цель — неплохая. Около полусотни веков человечество тянется к ней своею самой повёртливой, преуспевающей частью. Но и для неё успехи весьма двойственны. Есть на путях к этой цели некий обязательный камень преткновения, положенный свыше. На нём — надпись: «Иди. Но помни: будешь подличать — погубишь себе судьбу и душу». Разумеется, этого упредительного камня старались и стараются не замечать, в надпись не верить. Пророчество, однако, сбывается вполне исправно. Это относят обычно ко всяким случайностям. Но случайное, как сказано у Теофраста, — это оборотная сторона неслучайного.

Ловкому ковыякинскому парню Николаю Хренову тоже не приметился (да под военной грозой!) этот упредительный камень — и пророчество исполнилось. Можно, конечно, объяснить проще: в те времена, чтобы выжить и поиметь успех, надо было жить, как разрешено и приказано, а не выкомаривать что-то своё. Нынче — другой коленкор! Особенно для тех, кто при власти, при деньгах и не очень старается о белизне своей совести. Посчитайте-ка, сколько хваткого люда на просторах нынешней России старательнейше, день за днём гробят себе души и судьбы в жарких погонях, подчас совершенно безумных — «любою ценой!» — прежде всего прочего за деньгами, за деловым успехом, за комфортом собственного быта, отрекаясь ото всего прочего! А прочее — судьба всего народа, судьба всей России. Не в этом ли был виновен и ковыякинский мельник давней оккупационной поры, «мюллер» Хренов?

Тут есть над чем думать.